

Инна
КАБЫШ



Кто варит
варенье в июле...



Инна Александровна Кабыш

Кто варит варенье в июле...

Серия «Золотая серия поэзии (Эксмо)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=16986528

Кто варит варенье в июле... / Инна Кабыш: Эксмо; Москва; 2018

ISBN 978-5-04-098426-8

Аннотация

Поэтом может быть не всякий —

всего один,

почти никто... —

эти строки Инны Кабыш, безусловно, о ней. Именно ее имя останется в ряду больших поэтов, пытающихся понять суть предназначения женщины.

Именно ее строки

Кто варит варенье в России,

Тот знает, что выхода нет

в качестве эпиграфа к своему стихотворению поставил Евгений Евтушенко. Именно ее лирическое и гражданское «я» неразрывны, а сердце откликается на события, происходящие с Россией, искренне и честно.

В книгу вошли только самые лучшие, самые искренние, самые пронзительные стихотворения поэта.

Содержание

Предисловие	5
Стихотворения	9
«Вдруг прыщи исчезают со лба...»	9
«Учебой ли, в тимуровцы игрой...»	11
«На электричку брали билеты...»	12
«Это моя образцовая школа...»	14
«Это в Токио с неба летят лепестки хризантемы...»	16
«Русская жизнь насквозь литературна...»	17
«Я понаслышке знаю о России...»	22
«Словно живу по второму разу...»	23
«Наверх глянешь – с веткой ветка...»	24
«Я с тобой забыла дом и век...»	25
«Горе мое луковое...»	26
«Не держи ты сокола на своей руке...»	28
«Так всякий раз бывает по весне...»	29
«“Гуси-лебеди” – это о любви...»	30
«... Чем глотать блевотину газет...»	32
«А что Лжедмитрий? А слабо...»	33
«Что, как не путь, бесстрастная бумага?...»	35
На 28-ю песню Дантова «Ада»	36
«О, ваше скотоложество тотальное...»	37
Из поэмы «Постельный режим»	38

«...Бабье царство...»	40
«...И, не имеющей медблата...»	41
Екатерина Великая	42
«Если поезд ушел, надо как-нибудь жить на вокзале...»	44
«У, Москва, калита татарская...»	46
«Москва моя златокронная...»	48
«Ленинград умирает, как галльский вождь...»	49
«Кто варит варенье в июле...»	50
«От скотства, от бойни, от хлева...»	52
«Любовь бессюжетна, как Феллини...»	54
«В природе нету безобразия...»	59
«И всяк беспомощен и сир...»	60
«И кажется: все впереди...»	62
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Инна Кабыш

Кто варит варенье в июле...

Предисловие

Однажды я в разговоре с прекрасным ленинградским поэтом Геннадием Угрениновым похвалил одного питерского автора: хороший, мол. Угренинов поправил: бывают поэты хорошие, а бывают большие. Разница трудноопределима, но всегда чувствуется.

Инна Кабыш – большой поэт. Я думаю, критериев для такой оценки несколько: во-первых, большой поэт высказывает то, о чем все думают, но сказать не решаются. Это смелость не политическая, а скорей экзистенциальная, потому что страшней всего говорить не о политике, а о жизни. Жизнь безжалостней любой власти, власть еще может пощадить, а смерть никогда. Во-вторых, большой поэт говорит именно о том, что имеет универсальное значение, то есть о главных вещах, о самых сильных и мучительных эмоциях вроде страсти, позора, страха. В-третьих, его слова уходят в речь или по крайней мере врезаются в память.

В наше время – не слишком поэтическое, потому что читателей поэзии нынче мало, а доверие к слову невелико, – Кабыш известна этим настоящим читателям и ценится вы-

соко. Она не боится трагизма и живет в трагедии, потому что настоящая высота и сила поэтического голоса определяется только этим бесстрашием (Ахматова откровенно называла бесстыдством). Ее формулами думают и говорят о себе многие, и никогда не будет забыт поэт, сказавший: «Там ждут нас наши мертвые в могилах, как дети у забора в детсаду».

Не будет забыт поэт, сказавший: «А женщине чего бояться? Она не царь и не народ. Ей Пасхи ждать, и красить яйца, и не загадывать вперед. Где страх уста мужчине свяжет, где соблазнит мужчину бес – там женщина придет и скажет Тиберию: «Христос воскрес!»»

И уж точно никогда не будет забыт поэт, давший Христову имени такое счастливое, такое гениальное определение: «как за ночь снега подросли-то, сугроб – точно сахара кус, и в воздухе зимнем разлито веселое имя – Исус».

Это сказано не просто хорошо, это еще и важная отсылка к блоковскому «веселое имя Пушкин». Все главные имена – веселые, потому что знаменуют победу над смертью. И стихи Кабыш, хоть очень часто в них есть страшные детали и приметы, оставляют всегда впечатление победы – и тайной радости; и с этой тайной радостью я их перечитываю, а чаще просто вспоминаю, потому что знаю наизусть и достаю из своей тайной аптечки по мере необходимости.

Кабыш написала много. Не очень много, но на большое избранное хватает – при строгом отборе и при том, что годы ее по нынешним меркам еще молодые. Много и разнооб-

разно: тут драматические поэмы, притчи, баллады, есть лирика сюжетная, что большая редкость по нынешним временам, есть исповедальная, есть попросту истерическая, а есть благородно сдержанная, и особенно приятно, что о любви к Родине она говорит с исключительным достоинством, как о бремени, а не как о преимуществе. Но подробный анализ этой лирики, заслуживающей и филологического, и мировоззренческого разбора, – не входит в наши задачи. В наши задачи входит объясниться в любви. А то – кто я, в сущности, такой, чтобы предварять книгу Кабыш и разбирать ее лирику? Мы из одного поколения, и лично мне гораздо легче жить оттого, что рядом со мной работает большой поэт. И он скажет все, на что у меня не хватило духу. И потому нашу генерацию можно считать оправданной.

А вот кто достоин говорить о ней – так это другой поэт, побольше меня. Нонна Слепакова, превосходный питерский лирик и мой учитель, приехала однажды в Москву и слушала здесь молодых поэтов. В письме отправила поэтический обзор:

Безусловно хорош Дидуров,
Остальные вторичны. Бабы ж —
Абсолютный рассадник дуров,
Исключая, конечно, Кабыш.

Упоминалась там еще пара поэтов, подающих надежды, но они как-то быстро скукожились – и надежды, и авто-

ры. Кабыш продолжает держать планку и, более того, повышать ее; думаю, ее плодотворная зрелость подарит нам еще несколько бесспорных шедевров. Она сейчас в лучшем своем времени, о котором тоже сказала лучше всех:

Говорю спокойно и сурово:
Слава Богу, молодость прошла.

Ну, прошла и прошла. Стихи-то остались, им уже никогда ничего не сделается.

Дмитрий Быков

Стихотворения

«Вдруг прыщи исчезают со лба...»

Вдруг прыщи исчезают со лба,
и пунктиром ложатся морщины —
это знак, что начнется судьба.
Начинается!.. С крови, с мужчины,

с ломки, с дома, где все кувырком,
где так веще процедит свекруха:
ешь ломком — жить не будешь домком...
А за окнами будет разруха,

капитальная рухнет стена
от напора страданья простого,
и увидишь: в России война,
вдруг прозрев, как однажды Ростова.

И увидишь: не видно людей
за народом. Не годы — години.
И незыблемость очередей,
механизмов смиренья гордыни.

И песком заскрипит на зубах,

зашуршит, в коробах оседая
черепных: Чернобыль, Карабах...
И Россия, свекруха седая,

сядет рядом. Вот слово: свекровь!
Не жена, не Прекрасная Дама
и не мать. Степень близости – кровь
общей группы, семейная драма.

Просто брак оказался с брачком.
Но она же мне мужа носила!
Мы повязаны, мы ни при ком:
все на фронте: ни мужа, ни сына.

«Учебой ли, в тимуровцы игрой...»

Учебой ли, в тимуровцы игрой
охвачена, – была я всюду первой.
Отличницей. Общественницей. Стервой.
Меня не научили быть второй.

Остановить бы тройку на скаку,
спросить: «Куда, родимая, несешься?..»
Что первенством от смерти не спасешься,
я знаю. Чем спасешься – не секу.

Переборов ребяческую прыть,
живу неспешно, то есть драматично,
предпочитая не демократично,
а царственно решать, куда мне плыть.

...И мне уже не страшно быть второй.
И пятой. И десятой. И последней.
Да может, тот бессмертней, кто бесследней,
и тот первой, кто замыкает строй.

«На электричку брали билеты...»

На электричку брали билеты,
брали сгущенку, сачки и крючки,
чтобы все лето болтаться у Леты,
тихой-претихой дачной реки.

Бабушка утром читала молитву
и отправлялась в местный ларек,
и отправлялись мы на ловитву:
сам себе каждый Бог и зверек.

Шаркали старые велосипеды,
словно щенки, заливались звонки,
и ежедневно стыли обеды,
бились коленки, вяли венки.

Вдруг начинала жажда копиться,
и пополудни, около двух,
мы из любого пили копытца —
и оголялись зренье и слух.

Солнце сдирало лишние шкуры,
нам поверяли тайны души
наши соседи кошки и куры,
наши знакомцы ежи и ерши.

Даже трава становилась стоустой,
ибо наш слух был стократно остер,
Нас посылали бегом за капустой —
мы находили братьев-сестер.

Мы замирали, пронзенные сходством
с нами червячной дачной родни,
этим всеобщим божественным скотством,
и ликовали, что не одни.

«Это моя образцовая школа...»

Это моя образцовая школа
с вечнобеременными училками,
с нищенством классов и холодом холла,
резью звонков и невытыми вилками.

Вот, проходя до конца коридора,
слышу урок фанатичного пения
и тишину пионерского сбора:
тихую-тихую, до отупения.

Вижу перке и укол под лопатку,
греческий профиль женатого физика,
библиотекаршу-психопатку,
сына ее, бледнолицего шизика.

Вижу хрустальную Вашу указку,
белую руку и статью географскую,
братский газон и дырявую каску —
всю эту школу родную, дурацкую.

С по-деревенски большим огородом,
белой капустой и красными маками,
школьным народом и местным юродом,
матом, стихами, любовью и драками...

Вижу отличниц Наташу и Машу,
ставших валютными проститутками,
пруд, как две капли похожий на чашу,
если смотреть из-под облака, с утками

и селезнями, стрекозами, ряскою...
Вот и последний дебильный экзамен
сдан и на стенке про мать нашу краскою
масляной: «Боже! храни ее. Амен».

«Русская жизнь насквозь литературна...»

Русская жизнь насквозь литературна.
Мы страна слова (оно наше дело).
Мы живем по писаному: с листа.

Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?

«Пишу», «сказать» – это поступок,
это для Татьяны, «русской душою», дело.
Да еще какое!
Дело жизни.
Дело судьбы.
Дело женской русской судьбы.

Сначала я молчать хотела...
(молчать – не говорить – не делать)

Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить...

«Слышать», «молвить» – это тот
прожиточный минимум, без которого
нельзя.

Но в том-то и дело, что
Слово – это первотолчок: оно
«было в начале», а потом – была
жизнь, был весь мир.

Слышать – молвить – это самообман
(слукавила!), точнее,

это первотолчок сердца.

На самом деле Татьяне как всякому
русскому сердцу

нужен весь мир и вся жизнь
другого человека.

Она проговаривается:

«...Была бы верная супруга
И добродетельная мать».

Ваша, Онегин, супруга,

Ваших детей мать:

неужели Вы не поняли?

(Вы – поняли:

«Когда б мне быть отцом, супругом
Приятный жребий повелел...»)

Ибо Вы – «воля неба»

(читай: написаны на небесах).

Татьяна хочет, чтобы Он (егин) был
для нее всем в обмен на всю себя

(«судьбу мою... тебе вручаю»).

Но – не пришлось.

Встретившись в пространстве,
разминулись во времени:
условие необходимое, но не достаточное.
Как в школьной теореме.

И ничего не докажешь.
Он в другом кругу, точнее,
на другом витке,
ибо круг у нас один.

И все вернется на круги своя.
Туда, где (в 1831 г.)
«я думал: вольность и покой
замена счастьем. Боже мой!
Как я ошибся...»

И все вернется на круги своя.
Туда, где (1834 г.)
«На свете счастья нет,
но есть покой и воля...»

Это закон русской жизни:
возвращаться по кругу к тому,
от чего ушел, внутри себя обернувшись
на 180°.

И утверждать – там,
где отрицал (Онегин).
И отрицать – там,
где утверждал (Татьяна).
И возрождать то,
что разрушили.
И разрушать то,
что наворотили.

И вечно Татьяне убеждать:
«Я буду верная супруга!..»
И вечно Аленушке умолять:
«Не пей, козленочком станешь!..»
И вечно жене голосить:
«Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты!..»

Ничего не докажешь.
Он все равно уйдет, выпьет,
сделает по-своему.
Чтоб потом вернуться.
«Дожив до двадцати шести годов...»
Побывав в козлиной шкуре.
Без ноги или в цинковом гробу.

И захочет начать сначала.
И снова будет слово.
Но Татьяна уже будет другая,
верней, «другому отдана».
И снова не встретится со своей судьбой

(во времени, ибо место у нас – одно).

Судьба России —
это извечная не-встреча с самой собой.

«Я понаслышке знаю о России...»

Я понаслышке знаю о России,
я не застала старую Москву.
Но ведь живут же как-то в Хиросиме:
вот так и я живу.
И сколько мной получено в рентгенах
и сколького уже не получить,
не знаю. Но, по счастью, память – в генах:
не обокрасть ее, не облучить.
...В ночи безлунной раздвигаю шторы
и выхожу в открытое окно,
в безлюдные московские просторы;
как в космосе, на улице темно.
И жутко. Это время порешило
какую-то церквушку и судьбу
и снежною кутьей запорошило...
Прижмусь к стеклу – звезда взойдет во лбу:
мой третий глаз, всевидящее око,
моя планида до скончания дней,
и если прежде было одиноко,
то станет так, что некуда одной.
И не моргнут глаза мои сухие,
когда в районе левого соска
в меня войдут неслабые стихии:
московский сленг и русская тоска.

«Словно живу по второму разу...»

Словно живу по второму разу:
все уже было, было, было!..

Словно меняю шило на мыло,
хазу на хазу, рак на проказу.

Снова ничья оказалась – вот чья,
и под ногами все те же листья,
Эк, у судьбины улыбка лисья,
Эк, у любви усмешка волчья!..

Снова отчизна на том же месте,
ибо, как узник, бредет по кругу.
Ох и послал же Господь подругу! —
с кем поведешься, с тем сдохнешь вместе.

«Наверх глянешь – с веткой ветка...»

Н. С.

Наверх глянешь – с веткой ветка:
накрест и – сквозь прутья – просинь.
Никуда не деться: осень.
Осень – золотая клетка.

Эта местная, святая,
вера в лучшую погоду;
в братство – равенство – свободу.
Эх, отчизна – золотая!..

Золоченая пилюля.
От житухи есть лекарство,
да не стоит увлекаться...
Снега, ландышей, июля

ждать, как передачи с воли.
Да любить друг друга чаще.
Будут нам златые чащи
там, где ни любви, ни боли.

«Я с тобой забыла дом и век...»

Я с тобой забыла дом и век.
И стихи. Стихи! – какая малость.
Я смотрела на тебя, навверх,
и писать рука не подымалась.

Так от века: всякая жена
на земле всегда отыщет Бога,
чтобы верить, чтоб хлебнуть сполна
рая и падения. Я строго

не сужу: я ближнего щажу.
...Под ногами золота несметно.
Я иду. Я просто ухожу,
потому что мне с тобою смертно.

«Горе мое луковое...»

М. П.

Горе мое луковое,
горе от ума,
муж мой блудный, мука моя,
посох да сума.

Не бывала замужем —
я была за мужем
вслед идущей (сами же
выберем и служим).

Все твои пристанища
заселяла следом —
декабристка та еще!
Кто ведом, тем ведом

дух непослушания,
продирание через...
На два полушария
раскололся череп:

левое и правое, —
тело мира в швах.
Дело мое правое —

дело мое швах.

Ты желанный гость, поди,
там, где могут ждать.
Упаси мя, Господи,
побеждать...

«Не держи ты сокола на своей руке...»

Не держи ты сокола на своей руке,
Бабочку-лимонницу – в сжатом кулаке,

и родное детище дома не держи,
не таи ты Господа в закромах души,

землю свою родину не сжимай в горсти:
чтоб с тобой осталось —

от-

пу-

сти.

«Так всякий раз бывает по весне...»

Так всякий раз бывает по весне:
душа взрывает снежную коросту,
готовая к любви и новизне,
паденьям и болезненному росту.

И столько в ней накоплено щедрот
за русскую безвылазную зиму,
что хватит на мужчин и на сирот,
что хватит на Спитак и Хиросиму

березового сладкого питья:
душа кору, как чашечку, разбила.
...В такие дни до волчьего вытья
мне жалко всех, кого я разлюбила.

«Гуси-лебеди» – это о любви...»

«Гуси-лебеди» – это о любви.

...Бросилась сестрица догонять братца,
видит: стоит молочная речка, кисельные берега.

– Речка, речка, куда гуси полетели?

– Съешь моего киселька с молоком – скажу...

Не: переплыви меня,
не: сделай для меня,
а – съешь моего киселика,
то есть раздели со мной меня,
не: дай, а – возьми.

Брать труднее, чем давать.
Давали – дружно:
всяк по горсточке —
целую гору.

И стоит гора, золотая нора.

– Эй, гуси-лебеди! Возьмите моего золота!..

Метнулись гуси-лебеди
и пропали за темным лесом.

И стоит гора – одна-одинешенька —

золотой головой в небо упирается.

Любовь – это когда у тебя берут тебя.

«... Чем глотать блевотину газет...»

... Чем глотать блевотину газет,
лучше уж на улицу глазеть,
где афиши, очередь, ворона, —
да читать про кесаря Нерона,
ибо мы – по сути – тот же Рим:
и у нас имперские пороки,
и у нас распятые пророки,
вот и мы однажды погорим.
Лучше уж предаться жизни частной
и вязать сородичам носки:
здесь иное качество тоски.
Мне ж не все равно, где быть несчастной.
Лучше уж слоняться в затрапезе и,
делая мужчине бутерброд,
понимать, что ЭТО – жанр поэзии,
что мужчина – он и есть народ.

«А что Лжедмитрий? А слабо...»

А что Лжедмитрий? А слабо —
из грязи в князи, из монахов
в монархи? Чтобы пот со лбов
от краковяка. Чтобы ляхов

у всей России на виду
московской потчевать малиной,
чтоб, не боясь гореть в аду,
венчаться с нехристью Мариной,

на азиатском жеребце
чтоб мчать по стогнам, чтоб медведей
разить с восторгом на лице...
Он, скоморох, в ряду трагедий

играл на дудке, под нее
плясать заставив царство-ханство,
где дух есть слух, где гос. спанье
после обеда – норма. Панство

с гусар – школярством – вот вам царь:
ни тугодумства, ни дородства, —
бродяга, зверолов, пушкарь,
любовник с метой беспородства.

Который, вставши поутру,
свой труп найдет на лобном месте.
И то, что мы простим Петру,
мы Гришке не простим: из мести.

«Что, как не путь, бесстрастная бумага?..»

Что, как не путь, бесстрастная бумага?
Когда скользишь вдоль снежного листа,
то кажется: каких-нибудь полшага,
полвыдоха, полслова до Христа...

А за окном – просторная дорога
и, как на демонстрации, народ,
но в венчике пред ним не видно Бога:
их разлучил случайный поворот.

А раз народ, великий и могучий,
идет заре навстречу не с Христом —
неважно как: шеренгой или кучей —
тогда я не с народом. Я с листом.

На 28-ю песню Дантова «Ада»

Так он останется в веках:
кровоточит на шее рана,
а голова горит в руках, —
так Данте наказал Бертрана
де Борна:

 так один поэт
казнил другого пред рассветом:
так отнял жизнь – на весь тот свет
и дал бессмертие – на этом.

«О, ваше скотоложество ТОТАЛЬНОЕ...»

О, ваше скотоложество тотальное,
где шерсть и шкура с бабского плеча
и страстное: то явное, то тайное
желанье Евы, девы-первача!..

О, кольца золотые и терновые —
под флердоранж – незримые венцы!
О вы, мои возлюбленные новые,
сплошь не переходящие в отцы

моих детей. О, круг, в котором радиус —
рука, да только некому подать:
я – в эпицентре, я одна, я радуюсь
за тех, кто вне: мне хочется рыдать...

Мужайтесь же, любовью уязвленные,
вы, на партнеров, как на образа,
глядящие – во все свои соленые,
завидно близорукие глаза.

Из поэмы «Постельный режим»

Гинекология

Больница —
это мир в миниатюре,
отечество родимое в натуре.
Режим – постельный,
то есть элитарный.
Короче говоря,
тоталитарный.
От века в мире совершенства нету:
все бабы —
здесь,
а бабье лето —
где-то.
Здесь женщины,
а за окном —
мужчины.
Здесь следствие, —
а за окном —
причины.
...Кровит вполнеба,
и уже с пяти
шоссе абстрактней Млечного Пути.
И ночи – безнаказанно длинны.
Я знаю, для чего они даны:

чтоб думать.

Думать доясна.

О разном.

Но больше —

о высоком и прекрасном.

За тех, кто в мире,

и за этих баб.

За всех, кто телом или духом слаб.

«...Бабье царство...»

...Бабье царство.
Кровати.
Окно:
снег,
лежащий на листьях, как соль.
Счастья нет.
Это ясно давно.
Есть любовь.
И как следствие – боль.
Так устроена эта юдоль:
зуб за око
и кровь за любовь.
...Крест на небе.
Больничный офорт!
Есть мгновенье.
А после —
аборт.

«...И, не имеющей медблата...»

...И, не имеющей медблата,
мне этот мир дано познать,
чтоб краснощекого медбрата
к евонной матери послать,
чтоб истекающей девчонке
помочь до завтрака дожить:
всего-то навсего пеленки,
всего-то руки приложить,
чтобы ничейную старуху
до туалета проводить,
чтобы тотальную разруху
узрев,
не расхотеть родить.

Екатерина Великая

Та, что не знала другого отечества,
кроме чужого, его
внутри, как мужчину, впусив,
молодечество
ставя превыше всего.

Та, что Россию любила за удаль,
та, что до смерти пила
воду с лица. Что дала она, сударь,
русским? Да просто – дала!

Та, что по-женски к Москве ревновала,
ибо равно велики,
та, что, как пахарь, на зорьке вставала,
не покладая руки.

Та, у которой рука не разжалась
эту державу держать,
та, что рожала, когда ей рожалось,
словно Везувий дыша.

Та, разгадавшая русского сфинкса:
все и всегда на авось,
баба – не Петр, но средь нашего свинства
лично толкавшая воз.

Мне – далеко: и не то, что парчева
та
или весит за сто:
я не могла бы казнить Пугачева,
хоть оно было за что.

«Если поезд ушел, надо как- нибудь жить на вокзале...»

Юрию Ряшенцеву

Если поезд ушел, надо как-нибудь жить
на вокзале:
в туалете, в буфете, под фикусом пыльным,
у касс,
ибо нам небеса это место и век навязали,
как вовек полагалось верхам: не спросивши у нас.

Надо ставить заплатки на платья и ставить
палатки,
разводить не руками, а кур, хризантемы, костры,
и Писанье читать, и держать свою душу
в порядке,
и уехать хотеть за троих, то есть как три сестры.

И кругами ходить, как в тюрьме, по сквозному
перрону, —
и понять, и проклясть, и смириться,
и все расхотеть,
и без зависти белой смотреть на дуреху ворону,
что могла б и в Верону на собственных
двух улететь.

И на этом участке планеты дожить до рассвета,
и найти себе место под крышей и солнцем в виду
раскуроченных урн, и дожить до весны и до лета,
и в тетрадку писать, и не тронуться в этом аду.

И стоять на своем, и пустить в это месиво корни,
и врасти, а потом зацвести и налиться плодом,
ибо поезд ушел в небеса и свистки его горни,
но остался вокзал, на котором написано: «Дом».

«У, Москва, калита татарская...»

У, Москва, калита татарская:
и послушлива да хитра,
сучий хвост, борода боярская,
сваха, пьяненькая с утра.

Полуцарская – полуханская,
полугород – полусело,
разношерстная моя, хамская:
зла, как зверь, да красна зело.

Мать родная, подруга ситная,
долгорукая, что твой князь,
как пиявица ненасытная:
хрясь! – и Новгород сломлен – хрясь!

все ее – от Курил до Вильнюса —
эк, разъела себе бока! —
то-то Питер пред ней подвинулся:
да уж, мать моя, широка!

«Верит каждому бесу на слово —
и не верит чужим слезам:
Магдалина, Катюша Маслова,
вся открытая небесам.

И Земле. Потому – столичная,
то есть общая, как котел.
Моя бедная, моя личная,
мой роддом, мой дурдом, мой стол.

...Богоданная, как зарница,
рукотворная, как звезда,
дорогая моя столица,
золотая моя орда.

«Москва моя златокронная...»

Петербург – прихожая,

Москва – девичья.

А. С. Пушкин

Москва моя златокронная,
базар, перекресток, вокзал:
ты – русская? ты – чистокровная?
Да кто тебе это сказал?

Ты – горница, девичья, детская,
заваленный хламом чердак,
монголо-татаро-советская,
бардак, чехарда, кавардак.

Народы, как семечки, лузгая,
их плотью питала свой дух.
Я чай, мое имя нерусское
тебе не порезало слух?

Москва, мы великие грешники,
и нам ли копать в кровях!

...По всей-то России орешники
горят и рябины кровят.

«Ленинград умирает, как галльский вождь...»

Ленинград умирает, как галльский вождь:
гордо, голодно, голо.

И текут мои слезы, как с неба дождь,
и спекаются в горле глаголы.

У, предавшая военачальника рать,
чернь, царю перегрызшая жилу!..
Ленинград, ты меня научил умирать,
как Москва научила быть живу.

«Кто варит варенье в июле...»

Кто варит варенье в июле,
тот жить собирается с мужем,
уж тот не намерен, конечно,
с любовником тайно бежать.
Иначе зачем тратить сахар,
и так ведь с любовником сладко,
к тому же в доме его тесно
и негде варенье держать.

Кто варит варенье в июле,
тот жить собирается долго,
во всяком уж случае зиму
намерен пере-зимовать.
Иначе зачем ему это,
и ведь не из чувства же долга
он гробит короткое лето
на то, чтобы пенки снимать.

Кто варит варенье в июле
в чаду на расплавленной кухне,
уж тот не уедет на Запад
и в Штаты не купит билет,
тот будет по мертвым сугробам
ползти на смородинный запах...
Кто варит варенье в России,

ТОТ ЗНАЕТ, ЧТО ВЫХОДА НЕТ.

«От скотства, от бойни, от хлева...»

От скотства, от бойни, от хлева
с сумою и смутой – внутри
пока доберешься до «Хлеба»,
останутся лишь сухари.

И ты, замирая от счастья,
сухарь обменяешь на чек
и снова вернешься в ненастье,
в свой город, в свой голод, в свой век.

В свой ад поплетешься обратно,
плутая, как в соснах, в домах,
сбиваясь в пути многократно:
в грехах, как в шелках, как в стихах.

Но светом каким-то ведома,
ведома незримой звездой,
окажешься вдруг возле дома
и дом тот окажется твой.

...Свет лампы и чай с сухарями —
и так слишком много дано! —
и ночь – прочь уходит дворами,
а поутру смотришь в окно:

как за ночь снега подросли-то,
сугроб – точно сахара кус,
и в воздухе зимнем разлито
веселое имя – Исус.

«Любовь бессюжетна, как Феллини...»

Любовь бессюжетна, как Феллини,
и детальна, как «Евгений Онегин».

Любить – это не значит что-то делать,
любить – это само ДЕЛО.

«Что ты делаешь?» – «Люблю», —
и так в каждую секунду жизни.

При этом ты можешь стирать белье
в ванной,

а он – играть Гамлета на сцене —
вы оба будете делать одно дело:
любить.

Любовь не слепа —
у нее просто другие глаза.

В шестнадцать лет я страшно боялась,
что вот меня полюбят,
а я вдруг заболею какой-нибудь
некрасивой болезнью,
под этим подразумевалось:
ячмень,
флюс,

чирей, —

я боялась: как же ОН увидит меня ТАКУЮ.

Теперь не боюсь: ОН увидит другое.

Как если бы сквозь несколько матрешек

можно было увидеть самую маленькую:

матрешку-крошку,

девочку,

Психею.

У Психей не бывает чирьев.

«Леону Верту —

когда он был маленьким».

По утрам он особенно похож на мальчика.

Мальчика-с-бородой.

Мальчик играл вечером в Робин Гуда,

приклеил себе бороду,

бегал по лесам,

стрелял из лука,

распевал песни,

устал,

не почистил зубы,

не вымыл ноги,

залез в кровать,

свернулся эмбрионом —

и уснул.

А утром проснулся – с бородой!

и ты его не ругаешь:

Робин Гудов не ругают.

Любовь глуповата,
она детский лепет,
телячьи нежности.
Двое едут в метро.
Она держит кулек с клубникой,
берет ягодку,
откусывает половину
и дает Ему.
Берет – откусывает – и дает.
И так всю дорогу.
Ну что за дурь!
Неужели нельзя: одну ягодку – себе,
другую – ему?
Ведь так тоже – пополам!..
Они смеются.
Они «то, что говорится, счастливы», —
это о супругах Маниловых.
«Каждый приносил другому
или кусочек яблочка,
или конфетку,
или орешек,
и говорил трогательно-нежным
голосом, —
выражавшим совершенную любовь:
«Разинь, душенька, свой ротик,
я тебе положу этот кусочек».
Ну и что, что у Манилова
книга вечно открыта на 14 странице?
И что он никогда не выстроит

подземного хода, каменного моста,
дома «с таким высоким бельведером,
что можно оттуда видеть Москву»?
Ну и что?

Чего они стоят,
все эти «бельведеры»,
в сравнении с «кусочком»!
Да одним этим «кусочком»
спасены и сам Манилов,
и Алкид с Фемистоклюсом,
и «душенька» – Психея.

Любовь не любит собственные имена —
любит нарицательные:

кисонька,
заинька,
рыбонька,
детонька,
солнышко,
золотко,
тюля – муля,
лапуля,
ичик – мичик – карабичик,
инусик – подусик,
кук – хрюк,
Чук и Гек,
Мур: «имя собственного ребенка».

Любовь – это ночь и тишина,

и ты сидишь у окна,
ты что-то читаешь, а может быть, пишешь,
при этом ты вслушиваешься и слышишь:
это его шаги:

«Господи, помоги!..» —
сердце стучит в ушах,
это за шагом шаг,
вот он подходит к двери —
дальше нельзя стихами,
дальше стихи стихают —
сердце одно стучит...

Ключ, поворачиваемый в ночи, —
это вершина любви.

Пик коммунизма,
как сказали бы большевики.

Они всю дорогу
«учились, учились и учились»,
они прорывали подземные ходы
по всей планете,
они строили дома с бельведерами,
откуда можно увидеть светлое будущее.

Они умели все, кроме одного:
быть маленькими.

И потому вымерли.

Как мамонты.

А Манилов остался.

«В природе нету безобразия...»

В природе нету безобразия,
как и в большой литературе.
А все ж: мы кто? Неужто Азия?
Ну не Европа же в натуре!

Ишь, разухабилась громадина:
от Сахалина и до Веста.
Сколь метража для жизни дадено,
а не сыскать живого места!

И хоть народу понапичкано,
как в плюшкинской четвертке, – кучно
и куча книжек понаписана,
все – по большому счету – скучно.

И как-то так у нас устроено:
проходит лепший друг сквозь сито,
любовь и та неладно скроена
и на живую нитку сшита.

«И всяк беспомощен и сир...»

И всяк беспомощен и сир:
дамоклов рок на каждой вые.
Я посетила этот мир
в его минуты роковые.

Когда он весь, одним куском, —
без Украин, Армений, Грузий —
у Бога, словно в горле ком.
Блажен живущий без иллюзий,

но с верою в такие дни.
Неодинок — нерожоным,
а все немертвые — одни:
беда мужам и горе женам.

Сей мир я посетила в век,
чья атмосфера — безнадега,
и черен ход, и выход — вверх,
где нету Бога, кроме Бога.

И потому, что нет как нет
литературы не с природы,
блажен безжалостный поэт,
кто книгу выдубил из шкуры

своей и пишет все, что зрит:
безлюдье, мерзость запустенья,
чуму... И в нем огонь горит,
а вокруг – народ, зверье, растенья.

«И кажется: все впереди...»

И кажется: все впереди,
а встанешь утром – Петр и Павел
под птичий щебет час убавил,
и встык придвинулись дожди.

И побелела бузина,
жизнь раздалась, как молодуха:
как много тел, как мало духа,
куда ни глянь – бузит страна.

Психует местное дитя,
как будто что-то в нем отбито,
и, обезумевши от быта,
старуха тащится кряхтя.

...Уже безгрешное зерно
погибло и – заколосилось,
еще листва не изнасилась,
и сарафан не выцвел, но

предтеча осени арбуз
расшибся в кровь при всем народе.
Нет безобразия в природе,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.